

Творческое наследие Н.А. Бердяева и диалектика русской политической истории

Хотела бы продолжить разговор о странных превращениях идеологических лейблов и сформулировать три тезиса. Позиция первая. Диалектика истории, или, в гегелевской терминологии, хитрость мирового разума, заключается в том, что самоопределение эпохи, если угодно – самонаклеивание ярлыков, далеко не всегда соответствует реальному содержанию реализуемого политического курса и историческому содержанию эпохи. Второе: актуальность тех или иных идеологических течений определяется контекстом актуальной политики и далеко не всегда соответствует реальному содержанию идеологических течений. Третье: значимость теоретического наследия определяется глубиной внимания авторов того месседжа, с которым народ входит в исторический поток, и пониманием того, что представляет собой политическая культура той или иной политики.

Эти тезисы в полной мере подтверждаются анализом творчества Бердяева. Затрону только отдельные моменты, связанные с эмигрантским периодом его жизни. Известно, что ключевой проблемой, смысловым стержнем дискуссии в среде российской интеллектуальной элиты было обсуждение сущности, итогов, характера и последствий Октябрьской революции. С наиболее традиционных позиций выступало в этой полемике монархическое течение. Фундаментальная слабость этой позиции заключалась в абсолютизации форм жизни императорской России и в отказе СССР в праве преемственности по отношению к ней, не столько даже в юридическом, сколько в культурно-историческом смысле, в сведении сложной исторической реальности к предельно схематичной черно-белой картине. На одном полюсе царство добра – императорская Россия, на другом – то, что осталось от нее в результате большевистских происков. Как писал Ильин, «осаждающая крепость, грозящая подмять под себя весь остальной мир». «Советский Союз, – еще один тезис Ильина, – не есть Россия, ни одно достижение советского государства не есть достижение русского народа».

Бердяев занимал принципиально иную позицию. Он увидел в советской реальности, эмпирически колоссально отличавшейся от императорской России, он увидел в III Интернационале Третий Рим. После Октября в России фактически удалось осуществить Третий Рим, и на III Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Бердяев был убежден, что советское государство представляет собой трансформацию идеи Ивана Грозного, что это новая форма старой гипертрофии государства. Русский коммунизм более традиционен, чем обычно думают. Он есть трансформация и деформация старой русской мессианской идеи.

В этой позиции Бердяев был не одинок. Нельзя не упомянуть Георгия Федотова: «Большевизм победил не своей силой, а бессилием России. Октябрь не был торжеством восстания, а пределом разложения русской государствен-

ности». Или Бобрищев-Пушкин: «С того момента, как определилось, что советская власть сохранила Россию, советская власть оправдана, как бы ни основательны были выдвинутые против нее обвинения». Или Карсавин: «Большевики лишь приклеивали коммунистические ярлычки к стихийному, увлекавшему их течению, а коммунистическая идеология стала полезной этикеткой для жестокой необходимости». Или евразийцы: «Еще менее русская революция является переворотом, организованным группой злоумышленников, прибывшей в запломбированном вагоне. Она – глубокий процесс. Революция – прежде всего саморазложение императорской России».

Другой очень болезненной, очень значимой темой дискуссии в среде русской эмиграции было осмысление сталинской революции сверху. И в этом вопросе оценки были полярными. Но парадоксально, что почти все наблюдатели сходились в признании революционного масштаба и глубины переворота. В этом, между прочим, были солидарны такие разные авторы, как, с одной стороны, Бердяев и Федотов, а с другой – Троцкий. И оценивали они эту глубинную трансформацию с принципиально противоположных позиций. Несмотря на внешнее сходство курса сталинской политики на форсированную модернизацию с программой левой оппозиции 1920-х годов, по содержанию сталинская революция сверху представляла не как реализация курса Троцкого, а как подлинная контрреволюция в противовес революции Ленина и Троцкого. Если Троцкий делал упор на разрушительные задачи революции, то в содержании сталинской революции, в восприятии Бердяева и Федотова, не только не было разрывов с прошлым, но, по существу, и это очень интересная версия, она означала возвращение к традиционной модели российских модернизаций. В начале 1930-х годов в России-СССР произошло возвратное историческое движение. Причем имел место возврат не в эпоху императорской России, а в период Московского царства. И переезд советского правительства из Петрограда в Москву в марте 1918 года был неким символом этого возвратного движения. Федотов был прав: перенесение столицы назад в Москву есть акт символический.

В контексте подобных изменений становится понятной и оценка Бердяева этой революции сверху. В 1937 году он писал: «Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, и моралью этого мира. Он знает только одну науку – разрушение. Но сейчас коммунисты представляют государство, они заняты строительством, а не разрушением, и поэтому они очень меняются, они перестали быть революционерами по своему типу». Абсолютно идентична, во всяком случае, близка позиция Федотова относительно сталинских преобразований: «Революция в России умерла, это настоящая контрреволюция, проводимая сверху».

В этом смысле любопытно сопоставить позиции Бердяева и Федотова с позицией Ильина. Почему Ильина? При всем огромном богатстве в концептуальном, философском отношении и при всем политическом разбросе наследия русской эмиграции, возможно, самые крупные ее фигуры – Бердяев, Ильин, мне очень близок Федотов. Рискую быть услышанной очень схематично, поскольку в таком выступлении непросто изложить столь объемные проблемы.

Ильин, безусловно, колоссальная фигура по своей философской одаренности. Не случайно он писал о Гегеле. Я не буду ставить рядом эти фигуры, но то, что он был мыслителем очень масштабным, очевидно. Хотя бы потому, что он абсолютно точно смог сформулировать ключевые качества российской политики. Он понимал государственную власть как священный долг служения, он понимал значение политической культуры, которую называл правосознанием, как политической этики. Он прекрасно понимал суть традиции русской цивилизации как полифонии сохранивших равноправие народов. Он прекрасно понимал сущность российской, если угодно имперской, традиции, которая была



основана не на эксплуатации окраин, а совсем наоборот – Россия являла собой уникальный пример империи, в которой присоединяемые территории не только не становились колониями, но, напротив, были реципиентами имперского центра. Он был прав, когда отмечал органический характер российской цивилизации, гибельность расчленения ее земного тела, ее территории. Он предвидел, что результатом расчленения территории станет распространение ядовитых продуктов распада, например, национализма. В отношениях России и Европы он вывел чеканную формулу: «Европа нас не знает, не понимает и не любит. А неизвестное – пугает». Он писал, что никакие заслуги России перед Европой не могут способствовать преодолению этого странного, чудовищного страха перед Россией.

И вместе с тем Ильин поразительным образом не уловил, не понял диалектику превращения социокультурных феноменов и их идеологических лейблов. Он не понял и не принял советскую Россию, потому что не увидел этой нити преемственности, содержательной связи двух типов государственности. Ильин считал, что для того, чтобы вернуть и воскресить из небытия Российскую империю, необходимо выполнение как минимум трех условий: восстановление монархии, воссоздание православия и унитарное строение государства. Но ровно это и произошло в ходе революции сверху. Произошло чудовищно жестоким образом. Унитарное строение государства – куда уж унитарнее. Монархия – куда уж монархичнее. Молотов был прав. В беседах с Чуевым он говорит, что «культ личности поначалу Сталиным отвергался, а потом ему понравилось». Сталин был красный монарх. И самое главное – Ильин совершенно чудодейственным образом не понял, что красная идея стала новым православием, со своим символом веры, со своими канонами и со своими мучениками. Кто такая Зоя Космодемьянская? Мученица за веру. Ильин, с одной стороны, понимал, что недостаток волевого элемента сыграл роковую роль в судьбах российского православия. С другой стороны, он не ощутил исторической ответственности русского православия как религиозно-политического института Российской империи за ее внутренний распад. Он остался, к большому сожалению, очарованным странником исторической России. Что можно собрать из черепков? Только то, что разбилось, но уступающее по прочности оригиналу.

Применительно к мыслителям невозможно и неправоммерно говорить о заслугах. Но для осмысления сегодняшних, порою химерических, порою органических, превращений и социально-культурных феноменов и их рефлексий очень важно понимать эту диалектику – и исторического процесса, и философской рефлексии исторического процесса. Это то, что блестяще удавалось Бердяеву.

М.А. Маслин. Действительно, диалектику русской политической истории мало кому дано понимать в зарубежье. Бердяев лучше понимал, чем Ильин, – я согласен с этим. Ильин сам себя относил к дореволюционным идейным течениям. Издана его трехтомная переписка с Иваном Шмелевым. Шмелев пишет: «Иван Александрович, в России-то какие-то новые явления: комсомол, энтузиазм. Может описать как-то?». Ильин: «Если вы и дальше будете мне писать в таком советофильском духе, я всякие отношения с вами прекращу. Запомните раз и навсегда: вся история России – неревolutionционная и дореволюционная». Поэтому то, что происходило в советский период, он презрительно назвал «в Совете». Это для него не Россия, это «в Совете».

А.С. Ципко. Существует опасность рассматривать оценку Бердяевым советской системы, государственности, революции сверху как оправдание всего большевизма, марксизма и вообще самой этой идеологии. Это очень характерно для современного мышления. Мы подменяем вопрос об объективных причинах победы большевиков, который Бердяевым прописан блестяще, вопросом о моральной оценке Бердяевым большевизма и советской системы. Не очень корректно здесь сравнение Бердяева с Иваном Ильиным. Если уж мы рассматриваем концепт просвещенного патриотизма и либерального консерватизма, позиции Ивана Ильина ничем не отличаются в оценке большевистской системы от позиций двух веховцев – Петра Струве и Семена Франка. Конечно, я не посвятил жизнь Бердяеву, я изучал его только под углом зрения преодоления марксизма и коммунизма. Но повторяю: сущностное отличие этого либерального патриотизма, к которому можно отнести и Бердяева, но в большей степени Струве и Франка, да и Ильин здесь к ним ближе, – их сущностное отличие от противостоящего западной цивилизации позднего славянофильства заключается в том, что они противостоят марксизму, защищая западные ценности. Весь Бердяев, от начала до конца, особенно классическая его статья о демократии, социализме и тирании, – против

революции, против революционного социализма. Он подчеркивает, что революционный социализм держится на обожествлении революции, на революционном мессианизме. Здесь он повторяет Сергея Булгакова.

Мы сегодня рассматриваем проблему либерального консерватизма в контексте уже свершившейся антикоммунистической революции. Признавая Сталина и государство, их роль, никто из них никогда не рассматривал советскую систему как новое измерение традиционной русской системы. Пониманием советской системы как античеловеческой, противоречащей всем основам христианской культуры – этим пронизан весь Бердяев. И если он нам для чего-то нужен, мы должны отказаться от сохраняющихся стереотипов о революции как величайшем благе истории. И возвратиться к либеральному консерватизму, главный урок которого – преодоление большевистской, революционной интеллигенции. Преодоление ее национального, государственного и религиозного отщепенства. Ведь, в конце концов, есть классические тексты. Ну, как можно говорить о консерватизме, не вспомнив статью Петра Струве в сборнике «Из глубины»? Он там прямо говорит: уйдет советское время, и вы останетесь один на один с русской историей.

О.В. Гаман-Голутвина. Вы говорили о Франке. У него есть понимание странной, причудливой диалектики. В 1924 году он пишет, что за ужасы чрезвычайки несет ответственность русская интеллигенция с ее любовью к дальнему и пренебрежением к ближнему.

А.С. Ципко. Абсолютно верно. Но это не отказ от того, что это антиморально, античеловечно. Он просто говорит о том, что за этим что-то стоит.

О.В. Гаман-Голутвина. Наоборот, он говорит о том, что это чудовищно. Он пишет об ужасах чрезвычайки и честно признается в ответственности дореволюционной интеллигенции.

А.С. Ципко. У Бердяева размышления о русской революции с этого начинаются: я несу ответственность, я в этом виновен...

М.А. Маслин. Конечно, феномен эмиграции сложен, диалектичен, противоречив, антиномичен. Это и отвоевание места под солнцем в стремлении занять свою нишу. Вы что думаете, евразийцы искренне говорили «Без “татарщины” не было бы Руси»? Ничего подобного. Им надо было занять нишу, надо было проэпатировать. Сейчас опубликована переписка Сурчинского

и Трубецкого. Не принято было ни в одном евразийском издании ругать друг друга, но письма дают такие примеры. «Пища эмиграции, – пишет Трубецкой Сурчинскому, – ужасна. Эмигранты питаются разогретыми экскрементами». И надо было иногда изображать из себя то, чем не являешься, чтобы привлечь к себе внимание. Такие метаморфозы имели место сплошь и рядом.